

**Отрывок из первого раздела книги:
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ПРАВА. —
М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2013.**

В.В. Бибихин

Аннотация: Журнал «Политическая концептология» публикует фрагмент книги В.В. Бибихина «Введение в философию права».

Ключевые слова: Бибихин, философия, право.

4. Ревизор

Уже была названа главная тема нашей попытки философского разбора ближайших реалий государства, а именно идеальный императив как единственный возможный принцип права по Канту и по нашему убеждению. Введем теперь главное действующее лицо книги. Оно у нас уже появлялось и при разборе других тем в наших лекционных курсах. Мы называли его по-разному: наблюдатель, взгляд, вид, зритель, глаза. В сложном узле, о котором мы говорили, вспоминая между прочим о психосоциологии американских негритянских низов, и о котором Кюстин говорит, что «народ лукав, словно раб, что утешается, посмеиваясь про себя над своим ярмом», надо спросить: тот, кто смотрит таким насмешливым образом со стороны на свое рабство — он тоже раб? Так можно было бы подумать. Ничто не мешает однако говорить, что если раб смеется над своими цепями, то он свободен, как пленный Пьер Безухов, который рассмеялся, когда французский часовой не разрешил ему отдалиться от балагана с остальными военнопленными.

— Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу [...] смеялся он [...] [Голстой 1972: 522].

Смеясь, он оставался пленным, но в каком-то смысле, мы чувствуем, тот, кто смотрит на себя, другой, чем тот, на кого он смотрит.

В имперском театре середины XIX века (с ним нужно сравнить, здесь тема для серьезной работы, современное телевизионное освещение политики) все играют свои роли перед царем, но и царь играет свою роль первой скрипки и дирижера перед всеми. Прояснить вопросы права поможет введение лица наблюдателя в том исходном смысле, когда нет существенной разницы, наблюдает ли кто нас извне или мы наблюдаем себя сами.

В отдаленном сравнении острога, какую в наше время вносит скрытая камера, до появления технических средств фиксации была прерогативой ревизора. За три с половиной года до кюстиновского лета в России Гоголь написал с увлечением, за два месяца, комедию с таким названием. Приезжего принимают за ревизора — это был расхожий анекдот того времени. Подобное случалось с Пушкиным и с самим Гоголем. Появляется человек, который на

самом деле не простой, а скрытый наблюдатель, — эта ситуация грозила конечно тем, что обнаружится, что тот, кого наблюдают, должен был вести себя иначе, не имел права вести себя так, как вел, позволил себе недозволенное. В каком смысле мы боимся ревизора?

Для того чтобы представить себе силу ревизора, нам теперь нужно сделать усилие, потому что мы не видим инстанции, которая имела бы моральное право нас проверять. Власти в общем представлении не живут лучше, чем мы, и не посмеют обратить внимание на наши пороки, потому что мы тогда сами пожалуй заметим за ними то, что им не нравится. При те-перешнем способе правления есть реальная возможность в отношении каждого высокого человека доказать, что он нарушает закон. Вместо опасения реального ревизора сейчас однако существует общее размытое ожидание, что кто-то — неопределенный, может быть даже не человеческий, природная катастрофа, инопланетяне — придет, совершит суд или наведет порядок, у нас и во всём мире.

Ревизией русского человечества была вышеупомянутая пьеса Гоголя. Ее эпитафией была поставлена народная поговорка «На зеркало неча пенять, коли рожа крива»; зеркало как бы подносилось к каждому, чтобы он стал своим собственным ревизором. Пьеса заставляла

[...] Взглянуть вдруг на самого себя во все глаза и испугаться самого себя [Гоголь 1985: 353].

«Взглянуть вдруг на себя во все глаза», т. е. увидев себя всего, через союз *и* связано с *испугаться*. Одно стало быть равносильно другому. Что я живу не той жизнью, какую должен, само собой разумеется. Какие в таком случае у меня права, каким законом мне позволено жить, если, едва обратив внимание на себя, я потону в чувстве собственной вины? Никакие, никаким. По большому счету мои права на жизнь условные, игрушечные, они даны мне в шутку и комедийны; они принадлежат мне не больше чем Хлестакову, веселят меня на время и рано или поздно будут отняты первым встречным. Я набросился с жадностью на шуточные, условные права жить от страха за свою неправильность, как утопающий хватается за соломинку.

От своего чувства неуверенности сегодня я могу излечиться у аналога Хлестакова, например в современном тренинге уверенного поведения, где «учат обрести самоуважение и уверенность в себе; преодолеть робость и чувство беспомощности; выражать твердость и уверенность жестами, взглядом, тоном, темпом речи, осанкой, выражением лица». Легко себе представить оценку такого тренинга Гоголем, который увидел бы круговой обман или карточную игру во всей современной политической финансово-экономической системе. Гоголь говорит в грозной проповеди:

Этот настоящий ревизор, о котором одно возвещенье в конце комедии наводит такой ужас, есть та настоящая наша совесть, которая встречает нас у дверей гроба [...] этот ветреник Хлестаков, плут, или как хотите назвать, есть та поддельная ветренная светская наша совесть, которая, воспользовавшись страхом нашим, принимает вдруг личину настоящей и дает себя подкупить страстям нашим, как Хлестаков чиновникам, — и потом пропадает, так же, как он, неизвестно куда [...] жизнь, которую привыкаем понемногу считать комедией, может иметь такое же печально-трагическое окончание [там же: 352].

Символом настоящего, неподдельного ревизора повсеместно считался царь. Исходя из презумпции тотальной виновности, царь не заботился о том, чтобы у всех были политические права, так или иначе условные, и не особенно ревизовал их соблюдение. Царь считался или хотел быть сразу блюстителем того высшего назначения человека, когда человек, собравший всю свою энергию, ужаснувшись перед собственной неправдой, поднимается через слой (уровень) гражданских прав непосредственно к небесному гражданствованию. Государь

земной таким образом отождествляется с лицом верховного Господа. Условные порядки, титулы, чины осыпаются, единственно важным остается служение безусловно Высшему, и комический актер и писатель, например, да кто угодно, если он Высшему служит, заслуживает, по крайней мере в собственных глазах, высшего чина. Система права в служении Высшему сливается с моралью, мораль с религией. Всё становится серьезно, и только так появляется по крайней мере перспектива не соскользнуть в трагедию.

Не пустой я какой-нибудь скоморох, созданный для потехи пустых людей, но честный чиновник великого Божьего государства [...] Дружно докажем всему свету, что в русской земле всё, что ни есть, от мала до велика, стремится служить тому же, кому всё должно служить что ни есть на всей земле, несется туда же (*взглянувши наверх* [авторская ремарка к произносящему эти слова «Первому комическому актеру», Михаилу Семеновичу Щепкину, Городничему в «Ревизоре»]), кверху, к верховной вечной красоте! [Там же].

Верховный правитель, который держится божественным авторитетом, стоит таким образом выше права и на правовых основаниях не может быть смещен; в гораздо большей мере он сам санкционирован изменить право, закон, конституцию. Это делает его положение шатким в случае, если вера в него будет подорвана. Он тогда может быть смещен не то что революцией, но кем угодно, например в дворцовом перевороте. Но как в неправовом государстве непрочно положение единоличного правителя, или правителей, так же и каждый гражданин по-честному не может верить в надежность своего положения иначе как через санкцию верховного авторитета. В поисках нешаткой опоры он должен идти вплоть до верховной правды, которая страшно требовательна, потому что она выше чем человеческая.

Механизм ревизора тот, что достаточно пристально всмотреться в человеческое устроение на земле, чтобы обнаружилась его эфемерность, неправильность, вызывающая более или менее скрытую неуверенность человека в самом себе. Всякое *видеть* предполагает быть другим чем увиденное. Мы имеем виды на то, что увидели, т. е. не оставляем его таким, какое оно есть. Мы не можем не критиковать то, что видим, достаточно слишком пристально вглядеться самим или позволить вдумчивому художнику изобразить существующее. Способность глядеть и видеть райским зрением прекратилась в детстве.

Гоголь обращает внимание на обычное поведение под наблюдающим взглядом: оно такое же, как у всех в «Ревизоре» перед ревизором Хлестаковым, т. е. сводится к усилию показать себя в лучшем виде и задобрить глядящего всеми мерами, чтобы он в свою очередь одобрил нас. Тогда появляется иллюзия нашей оправданности, например на том основании, что мы не хуже других. Нетерпимое зло, возможно, существует, но уже не в нас. Снова говорит Гоголь-проповедник:

Лицемерны наши страсти, и не только страсти, но даже малейшая пошлая привычка умеет так искусно подъехать к нам и ловко перед нами изворотиться, как не изворотились перед Хлестаковым проныры чиновники, так что готов даже принять их за добродетели, готов даже похвастаться порядком душевного своего города, не принимая и в мысль того, что можешь остаться обманутым, как городничий [там же: 353].

Гоголь напоминает о существовании кроме поддельной хлестаковской совести настоящего ревизора, гораздо более строгого и бесконечно надежного. В письме Александре Осиповне Смирновой-Россет 6.12.1849:

Помните, что всё на свете обман, всё кажется нам не тем, чем оно есть на самом деле. Чтобы не обмануться в людях, нужно видеть их так, как велит нам видеть их Христос. В чём да поможет

вам Бог! Трудно, трудно жить нам, забывающим всякую минуту, что будет наши действия ре-визовать не сенатор, а тот, кого ничем не подкупишь и у которого совершенно другой взгляд на всё [Переписка 1988: 197].

С каждой минутой простого ожидания строгого ревизора он становится страшнее, в конце концов безмерно грозен, как в конце гоголевского «Ревизора».

Это появление жандарма, который, точно какой-то палач, является в дверях, это окаменение, которое наводят на всех его слова, возвешение о приезде настоящего ревизора, который должен всех их истребить, стереть с лица земли, уничтожить вконец — всё это как-то необъяснимо страшно! [Гоголь: 348].

Получилась таким образом не комедия, а всё-таки тяжелая трагедия. Комедий не бывает с уничтожением всех в конце, с отправкой всех в тюрьму, с неминуемым беспросветным будущим для всех. Разве что так: люди оказываются смешными куклами и умирают, замирая в неподвижности; *человек* восстает, не на сцене, а в зрительном зале, как глядящий, т. е. смеющийся глядеть, т. е. не нуждающийся в ревизоре, сам свой зритель.

Один и тот же человек может то договариваться с Хлестаковым, то всерьез разговаривать с настоящим ревизором. С этим разнообразием человека связана проблема субъекта права. Из-за неопределенности субъекта вообще право должно стоять как система само по себе и само на себе. Субъект права не дан раньше правопорядка; субъект, наоборот, определяется уже из существующей системы права и может быть привязан, гибко привязан или вообще не привязан к телесному человеку, к так называемому индивиду.

Люди, казалось бы устойчивые личностные образования, оказываются шаткими. Они могут перестроиться и внутри себя, и как социальная структура. Постоянным лицом оказывается наблюдатель, ревизор, судья. Сказанное о комедии относится ко всему обществу:

[...] В голове всех сидит ревизор. Все заняты ревизором. Около ревизора кружатся страхи и надежды всех действующих лиц [там же: 338].

Вездесущие ревизора связано с его невидимостью. Даже когда он не инкогнито, он должен быть загадочен. Его мнения должны быть непрозрачны, они молчаливо накапливаются для будущего решения. Даже когда он смотрит в нас самих, он инкогнито; мы никогда не знаем и не узнаем, кто он. Всякая попытка взглянуть на глядящего вызвана уже им и для него. Усилие Гоголя направлено на то, чтобы расплывчатого ревизора сделать определенным, узаконить как главное лицо навсегда.

Лучше ж сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее. На место пустых разглагольствований о себе и похвальбы собой [...] в начале жизни взять ревизора и с ним об руку переглядеть всё, что ни есть в нас, — настоящего ревизора, не подложного, не Хлестакова! [Там же: 351]

Когда Гоголь советует это, он надеется на особое свойство русских даже в рабском и подчиненном состоянии сохранять взгляд на себя со стороны и готовность к перемене.

[...] Смех у нас есть у всех; свойство какого-то беспощадного сарказма разнеслось у нас даже у простого народа. Есть также у нас и отвага оторваться от самого себя и не пощадить даже самого себя [там же: 357].

Другое, высокое гражданство, к которому зовет Гоголь, в «великом Божьем государстве» [там же], где искусство может быть более важным служением чем полиция и промышленность, предполагает полные права каждого в той мере, в какой каждый давно и безоговорочно признал над собой настоящего ревизора, совесть, и она ему слышнее и важнее всех других голосов, в том числе серьезнее чем указания власти и официальной церкви. Человек, принявший настоящего ревизора, не примет порядка, устроенного не по совести.

Мы говорили о двух типах государственного устройства, одно — вокруг единого правителя как главы семьи, другое — договор равноправных, братьев. К какому типу отнести гоголевское гражданское устройство по совести? К любому из этих двух. Когда общество устроено не по совести, то всё равно, какую именно форму оно приняло. Гоголь предлагает таким образом карамзинское, пушкинское решение давнего спора, условно говоря, между европейским Западом и Востоком, «западниками» и «русофилами». Восточная идеология семейного устройства представлена, например, в недавней книге *А.М. Величко* «Государственные идеалы России и Запада. Параллели правовых культур». Величко спорит со старым немецким правоведом Рудольфом фон Иерингом (Ihering). По Величко, если право есть, как настаивает Иеринг, юридически защищенный практический интерес (так называемая юриспруденция интересов, или юридический прагматизм), — то борьба за право, которую Иеринг считает обязательной, оказывается ничем иным как вежливой гражданской войной, где каждый урывает себе что может (*homo homini lupus est*), хотя и в цивилизованно упорядоченной драке. Величко противопоставляет этому государственный идеал России, особенно как он оформился в XVI–XVII веках при Иване Грозном и первых Романовых, т. е. до Петра I. Впоследствии, по Величко, начала православного российского государства были подорваны западным влиянием. Зато в ту определяющую эпоху

борьба за право или права [...] никак не проявляется в деятельности Московского государства. Всё построено на идее ответственности, обязанности лица отдавать все силы для пользы государства и нести соответствующие повинности и обязанности [Величко 1999: 156].

Отступление от принципа безусловной, вознаградимой обязанности жителя перед государством было приближением к Западу и нравственным падением. Люди стали корыстно бороться за свои права во вред общественной гармонии.

Полной противоположностью этому началу рисуется позиция Иеринга:

В праве человек обладает и защищает условие своего нравственного существования; без права он нисходит до степени животного. Поэтому утверждение права есть долг нравственного самосохранения, полный же отказ от него — ныне, правда, немислимый, но некогда вполне возможный, — будет нравственным самоубийством. Точно так же и в процессах, где истец защищает от низкого нарушения своих прав, дело идет не о ничтожном объекте, а об идеальной цели: об утверждении самой личности и ее чувстве права. Интерес процесса обращается для него в вопрос характера: на карту поставлены утверждение или гибель личности [там же: 156].

Эти две позиции перестают казаться такими противоположными, если посмотреть на них с гоголевской точки зрения совести как ревизора. Как в восточном начале ответственность, обязанность предполагают отчет перед совестью, так у Иеринга человек защищает свои права не чтобы ему было удобнее, а наоборот, даже если это ему неудобно и судебный процесс обойдется ему дороже; защита прав есть обязанность перед своей совестью на защите общей справедливости. В позиции Иеринга не так важно, борется человек за права или нет: если он их себе требует ради корыстного интереса, то хоть бы и не требовал, всё равно; единственно важно, что он их требует ради идеи. И точно так же в позиции Величко не так

важно, служит человек государству или не служит; если само государство служит не идеалу по совести, то хоть бы никто ему и не служил, всё равно.

Если мы теперь вернемся к придворному балету, как его описывает Кюстин, то в свете Гоголя всё становится яснее. Император хочет играть роль настоящего ревизора, аристократа, по совести действующего из высших принципов. Его подданные хотят видеть в нём такое лицо. Император согласился на постановку «Ревизора». Если он — что скорее всего и было — видел, что в комедии показана вся Россия включая его самого, не исключено что в персонаже Хлестакова, то, разрешив постановку, император разрешил продолжать выяснение истины и принял связанный с этим риск.

Придворный балет разыгрывается конечно прежде всего перед императором. Вместе с тем играет, причем пожалуй старательнее всех, и сам император, концертмейстер, первая скрипка. Перед кем он играет? Конечно, перед подданными; он показывает им пример. Признаёт ли он их ревизорами и судьями над собой? Возможно, хотя только отчасти. Первое действующее лицо явно отчитывается еще перед кем-то решающим. Наверное, перед самим собой? У нас это легко проговаривается: он первый исполнитель роли, он же и свой собственный критик. Разница между этими двумя лицами велика? Здесь та же ситуация, что в случае лукавого народа, который посмеивается над собственным ярмом. Разница между рабом и насмешником может быть очень велика.

Наша тема не техника юриспруденции, а введение в философию права. Мы обязаны поэтому не обходить сложности — наоборот, надо идти им навстречу, — в понятии субъекта права. Всё равно без помощи философии правоведение в нём не разберется. Субъект права определяется обычно тавтологически как законно имеющий права, или как обладающий правосубъектностью. Можно подумать, что сначала дан субъект, которому затем закон дает права. На самом деле, как мы видели, всё обстоит наоборот; субъект сам по себе плывет, и только принятая система права имеет внутри себя уже готовые ячейки для субъектов права. Это особенно ясно видно в случае юридического лица, которое в принципе не может оформиться иначе как в допускаемом или предписываемом законом порядке. Но и физическое лицо определяется через закон, а не через свое биологическое наличие. Сравнительно недавно, еще менее ста лет назад, не всякое физическое лицо становилось полноценным субъектом права, например избирательного, а только такое, которое имело определенный размер собственности (имущественный ценз); после революции, наоборот, — только такое, которое не имело частной собственности; существовали и другие ограничения. Современная теория права считает, что в так называемом рабовладельческом обществе право, причем опять же не одинаковое в зависимости от имущества и происхождения, имели только свободные тела, тогда как несвободные в принципе не имели прав. В феодальном христианском обществе субъектами права были уже все тела без исключения, но разница в правах на противоположных полюсах, например между обельным (круглым) холопом и князем, была огромная.

Недавно, меньше ста лет назад, в европейском человечестве была введена новость: полное равенство в правах всех «граждан». Ясно, что реально равенства в правах нет и не может быть по разным причинам, например по такой простейшей: я не изучал законы, не знаю своих прав и по этой причине потерял при переоформлении участок земли, тогда как мой сосед по даче знает законы и не потерял. В хорошем случае власти ведут себя безупречно и не пользуются моим незнанием прав; чаще бывает наоборот и власти вовсе не спешат научить всех правам.

Поскольку безупречности ни с какой стороны ожидать не приходится, проиллюстрировать равенство прав оказывается удобнее именно через сравнение теперешнего положения дел с отмененным и якобы преодоленным прошлым. Применяется контрастная схема: вычерчивают эффектное, кричащее неравенство прав в прежнем обществе. Впечатляет каждого со-

общение о том, что рабовладелец в принципе ни перед кем не отвечал за отнятие жизни у тел рабов. По контрасту, всякое отнятие жизни у кого бы то ни было в наше время требует заведения дела. Реально за убийство раба в древности были свои санкции по обычному, неписаному праву, и иногда эти санкции были строже, чем например теперь наказание за убийство человека, которому не разрешено ношение оружия, человеком, которому разрешено ношение оружия.

Удобно, для номинальной системы права, чтобы она выглядела более обозримой и компактной. Упрямое нежелание вступить в пространство права поощряется со стороны самой системы права, которой удобно не входить в ближайшие реалии, ограничить глубину своего внедрения в жизнь. Индивид может быть, кроме того что физическим лицом права, еще и юридическим лицом. Он остается телесно тем же, но его права шире. Третий случай: индивид может хотя и не быть юридическим лицом, но он уполномочен лично выступать от имени коллективного юридического лица, например государственного органа. Тело, у которого есть только физическое лицо, тело, у которого есть также юридическое лицо, и тело, представляющее от государственного органа, явно не равны. Говорить, что они равны перед законом, теоретически возможно, но что у них *равные права* — только условно. Кто-нибудь скажет: но каждый может стать и юридическим лицом, и президентом, если умеет. Умеют явно не все. Мы возвращаемся к невозможности равноправия граждан.

В добавление к сложности субъекта права (1. Он исходно имеет права или формируется системой права? 2. Гражданин субъект права, государственные органы субъекты права, общественные организации субъекты права, причем граждане как субъекты права равны, но простой гражданин равен в правах гражданину, который в государственной должности? надо различать гражданина и государственную должность? надо ли считать должность субъектом права? и так далее) усложним реальность введением нового и, как уже говорилось, главного действующего лица, зрителя-ревизора, который совпадает или не совпадает с тем, кого он рассматривает.

Со временем будет проясняться, как полезно ввести это действующее лицо. Оно не совпадает ни с каким субъектом права, но оно не фикция. Наблюдатель, ревизор располагается в неразведанном пространстве или живет в нас самих, наблюдая, что и как мы делаем. Наблюдателя (зрителя) мало замечают по причине постоянного привычного ощущения его присутствия; все почти всегда позируют перед ним, свыкаясь с этим. Сидя здесь и разговаривая о праве, мы видим себя, и видящий смотрит, как мы говорим о праве. Видящий не заявляет о своих юридических правах, но он их имеет, причем немалые. Громадная тема доноса как одной из опор государства не будет рассматриваться нами именно потому, что она полностью входит в тему ревизора.

Хотя наблюдатель не заявляет формально о своих правах, ему может, например, стать скучно. Тогда всё, что перестало его интересовать, по сути дела перестанет для него и в конечном счете для нас тоже существовать, т. е. сравнится с ничто. Наблюдателю может быть, далее, сначала не скучно, но потом он обнаружит, что его заинтересованность была искусственно создана, его заманили. Он отомстит тогда забыванием того, чем, казалось бы, был так занят. Забытое опять же проваливается в ничто и выходит из бытия. В принципе имеет шанс сохраниться в бытии только то, что выдержало взгляд наблюдателя. История в этом отношении похожа на театр; если публике становится неинтересно, она уходит и представление сразу или со временем прекращается. Всё зависит от того, как понравится или не понравится зрителю. В этом смысле он имеет собственно все права, или одно главное право. Между тем он не юридическое лицо и ни в каком законе не зафиксирован. Социалистическая или коммунистическая цивилизация была почти построена, советский человек сформирован, но

стал скучен самому себе как собственному зрителю и перестал прилагать усилия на свое подержание.

Подыскивая другие имена наблюдателю, ревизору, вспомним о такой фигуре как шпион. *Шпион* кажется новым словом, в действительности оно очень старое. Вульгарное слово *шпик* неожиданным образом — такое с разговорной речью часто бывает — возвращает к лат. *speculum зеркало*, греч. σκέπτομαι с метатезой *осматриваться, обращать внимание*. Кто так делает, т. е. присматривается, становится *скептиком* у греков, в древненижнегерманском *srāhi умником*. Кто пристально вглядывается, может слишком много увидеть. Слово поэтому рано приобретает значение *шпион*. Первым это значение в европейских языках зафиксировано у итальянцев. Считается, что от них заимствовано в 1380-м первое зафиксированное применение во французском, *espion, шпионка espionne*.

Спустимся на ступеньку глубже. Глядящий как умный, наблюдательный, даже скептик, т. е. заглядывающий дальше внешней видимости, есть пока еще и ожидаемое расширение глядения. Обертон *шпиона* вводит ту мысль, что глядение простой вдумчивостью не ограничивается, оно опасным образом не наше. Шпиономания в Советском Союзе тысяча девятьсот тридцатых годов, отчасти похожая на ревизороманию тысяча восемьсот тридцатых годов, была сплошным взаимным прочесыванием умов и паническим желанием того, чтобы, если уж мне не дано выискивать шпионов, непременно остаться при невидном, наивном, не вглядывающемся взгляде. Правил всеобщий испуг перед взглядом, который отпущен на свободу и глядит бесконтрольно, а такой взгляд уже не подчиняется плану.

Откуда идет взгляд и кто в нас глядит на нас, проверяя нас, проследить трудно, если не невозможно. Мы обыкновенно бываем целеустремлены, и взгляд со стороны, чужой или наш собственный, сбивает нас с толку, мешает, как нам кажется, жить, даже отравляет существование. Скепсис, холодное вглядывание, подрывает наши сложившиеся представления, мешает смотреть на вещи так, как нам казалось привычно. Смотрящий оказывается так не просто шпион, собиратель сведений, а предатель. Глядящий грозит разрушить нашу жизнь (как ревизор). Французское *espier* в смысле *предать* появляется раньше чем в смысле *шпион* уже в бумагах 1080 года.

Присутствие в нашей действительности таких вещей как ревизор, скептический наблюдатель, шпион, подглядывающий, который может сглазить, мы обычно не соединяем в одно явление. Речь идет как будто бы о разрозненных вещах. В древнем сборнике священной поэзии Ригведе есть образ, который вмещает в себя всю стихию подглядывания, выслеживания, проверки. Второй по важности, иногда самый важный бог ведийского пантеона — Варуна, в основном бог высокого (звездного) неба или, что близко по смыслу, бог мирового океана, в котором мы все плаваем; он же бог правды. Из вещей, известных о Варуне, основная та, что повсюду сидят бесчисленные шпионы этого правителя мира и учредителя законов. Древние поэты, трезвые реалисты, не скрывали, в чём мощь всякого правителя: в хорошей секретной службе. Варуна бог насквозь просвеченного мирового океана, среды нашего обитания, и повсюду расселись его соглядатаи, переводит Елизаренкова, но точнее было бы перевести этимологически тем же словом, а именно шпионы,

Pari spaço ni shedire¹

paṅi, *при* нём расселись — сказано словом с тем же корнем что *резиденты* — его шпионы, тайные агенты, во множ. числе spaṅ. Энергичное слово, существительное, оно же основа глагола *заметить, вглядеться*. Spaṅ хорошо переводить на немецкий: Späher, шпион.

¹ RV I, 25, 13.

Варуна, предположительно высокое небо, всё покрывающий и обнимающий мировой океан, большеглазый, широкоглазый, тысячеглазый; повсюду расставив своих шпионов, он следит за всем и во всяком случае человеческие нарушения знает. Он не только всеобщий ревизор; он изначально, в исходной данности всё сковал жестким законом. Он везде, подобно водам мирового океана; от него не спрячешься. Остается только, приняв закон необходимости, впрямь не нарушая его и служа ему, просить о милости бога правды,

7. Кому известны птиц пути,
Летающих по поднебесью,
Владыке моря — кораблей.

Тогда через понимание божественного абсолютного закона откроется свобода близости к богам, к началам вещей. Варуна всё обволакивает еще и в том смысле, что не оставляет секретных и тайных мест, проникает в них, т. е. заполняет всё то пространство, которое есть кроме видимого, известного сейчас, и откроется позже.

10. Воссел владыка праведный
В своем жилище Варуна,
Чтоб, крепкий, самовластвовать.
11. Оттуда, всё сокрытое
Заметив, он следит за тем,
Что было и что сбудется.

Из-за своей невидимости он имеет безграничный объем, ему принадлежат все поля любого знания, а поскольку он окружил всё видимое своими наблюдателями, ему принадлежит господство над всеми тайными движениями человеческой души.

13. Плащ золотой (небо) взял Варуна,
Одежды белоснежные,
Расставил соглядатаев.
14. Лжец не возьмется лгать ему,
Ни ненавистник среди людей,
Ни — богу — лицемерные.
15. Себе создал он у людей
Почтенье беспредельное
И в наших недрах поместил [«в утробах наших», <пер.> Елизаренковой].

У Шекспира такими божественными шпионами сходят на дно жизни старый король Лир и Корделия.

[...] Come, let's away to prison:
We two alone will sing like birds i'the cage [...]
And take upon's the mystery of things
As if we were God's spies².

Вводя новое действующее лицо в пространстве права, возвратим древнему слову *шпион* значения, жившие веками и тысячелетиями в этом корне: спекуляция, т. е. созерцание, не обязательно с высматриванием выгоды; скепсис, пристальное внимание, подсматривание, вглядывание; подрыв всего нашего жизненного уклада внимательным взглядом со стороны;

² King Lear, Act V, Scene III.

предательство. Показать на шпиона невозможно, потому что он всегда успеет скрыться за кем-то из вездесущих божественных смотрителей. По предположению некоторых этимологов, к тому же корню, что *шпион*, принадлежат *настух*, *насти* и *спасти*. В древнеиндийском этот корень без *s* в начале, т. е. просто *раç*, значит тоже *смотреть*, *глядеть*, как и *сраç*.

Нередкое на процессах тридцатых годов подозрение невиновных, обвинявшихся в шпионаже и предательстве, что сам следователь шпион и предатель, было по существу правильно и вместе с тем недоказуемо и безрезультатно; подозрение делало подозреваемого вдвойне шпионом. Дело осложнялось тем, что дореволюционные ограничения на подозрение в шпионаже — не подозревается тот, кто со мной стоит на литургии, кто власть или судья, кто солидный, состоятельный и денежный, тем более если он почетный гражданин; вне подозрений аристократ во многих поколениях, ребенок, жена, — все эти традиционные алиби были революционно сняты.

В годы шпиономании шпион, который раньше был экзотикой далеко на горизонте, подступил вплотную. Всех стал душить неизвестно чего хотящий наблюдатель, глядящий из всех глаз, в том числе из моих собственных тоже. Никто ничего не боялся больше, чем шпиона в самом себе, и честный, преданный, наивный, ничего не замечающий, нескептический взгляд культивировался прежде всего как спасение от шпиона в себе.

Одевание всех одинаково серо в простой обыденный облик, отшатывание от шпиона как раз шпиона и провоцировало. Он стал заглядывать уже как-то совсем страшно и пристально повсюду, именно когда при всеобщей необеспеченности и одинаковости стало нечего наблюдать и высматривать. Как избавиться от тотальной слежки? Уничтожение всех шпионов — болезненный и самоубийственный способ. Уничтожающий начинает подозревать себя, а шпион оказывается неистребим. Что отовсюду смотрят тысячи глаз, после изгнания всех шпионов ощущается едва ли не острее чем раньше. Отовсюду смотрит Варуна, причем не просто смотрит; нередко встречается ощущение, причем не только у болезненных людей, что где-то делается сплошная магнитофонная запись или идет непрерывная киносъемка.

Статистически наиболее частый способ избавиться от шпиона — замкнуться в четырех стенах, в своей комнате, за высоким забором. Или еще глуше запереться, в обмане и отказе. Рано или поздно однако всё тайное станет явным, причем скрытному будет приписано и то, чего он не творил. *Quidquid latet apparebit, nil occultum remanebit*.

Единственный здравый, оправдывающий и спасающий способ уйти из-под надзора заключается в том, что живое показывает себя как может со своей лучшей и наиболее сильной стороны, этим отчитываясь перед глядящим. Церемониал придворного балета, одежда, подготовка тела, особенно царственного и женского, было таким показом перед зрителем императором, который в свою очередь показывал всё это устройство и себя Европе. Высший ревизор должен был умиловаться тем, что ему показывали всё самое лучшее.

В наше время показу той эпохи, когда одежда и церемониал больше всего притягивали взгляды, с некоторой натяжкой соответствует телевидение. Оно показывает всё, конечно, зрителю, но при этом есть и оглядка еще на кого-то, с большей частью неосознанным отчетом перед ним: смотри, что мы показываем зрителю. При разборе того, кому именно это говорят, остановиться трудно. В конечном счете мы остановимся перед загадкой: неясно, кому показывают. Во всяком случае дело обстоит не так, что одна часть человечества показывает что-то другой, и даже не так, что люди показывают себя сильным, властным, от которых всё зависит. Кому человечество показывает всё то, что оно показывает, в конечном счете остается в темноте.

Прежде чем перейти к другому разделу темы ревизора, кратко подытожим сказанное.

1) Что-то мы делаем только когда на нас не смотрят. Под взглядом мы ведем себя иначе, подразделяя степень ответственности; например, перед своими позволяем себе почти всё,

на другом полюсе, в храме, представляя себя перед всевидящим Богом, боимся шевельнуться. В комедии Гоголя «Ревизор» главным событием становится то, как ведут себя люди, стараясь сделать так, чтобы строгий, почти божественный, потому что идущий от самой императорской власти, взгляд смягчился, стал своим и позволил многое, но когда появляется настоящий ревизор, все застывают не шевелясь, словно отвыкнув от движений, не позволяя себе уже ни одного жеста.

2) Преступление совершается, как принято считать, обычно ночью, когда не видно. На самом деле преступления совершаются, конечно, и днем. Но это не значит, что преступнику всё равно, смотрят на него или нет. У психологов есть понятие суженного поля зрения, когда воспринимается не всё то, что человек видит. Чуть не главная цель исправительной системы — научить преступника видеть шире. Выражение Гоголя «взглянуть вдруг на самого себя во все глаза», описывающее наше состояние при воссоединении с настоящим ревизором, предполагает, что мы бесстрашно допускаем до себя все глядящие на нас глаза.

3) Всеми глазами глядит на нас большезлазый, тысячеглазый Варуна, бог правды (справедливости). Он обволакивает всё как космический океан; от него ничего не скроется. Спрятать от него малейший проступок невозможно. Допустить его взгляд до самого себя — значит, как говорит в той же фразе Гоголь, тем самым одновременно и испугаться самого себя. В каком-то смысле это хуже чем испугаться другого: при внезапном нападении есть страх, допустим, за жизнь, но нет страха за сделанное, накопленное, например, за положенные в банке деньги, которые достанутся наследникам, за воспитанных детей. Страх перед самим собой тотальный, когда деньги перестают быть утешением, в правильности воспитания детей возникают сомнения. Религия своим обрядом, обычаем, церковным пением, утешительной практикой молитвы защищает от всемогущего всевидящего Бога как слой атмосферы от жесткой радиации. В 1930–1940 годы, когда страна лишилась защиты Церкви, страшный проникающий взгляд жестокого судьи коснулся собственно всех; почти каждый чувствовал себя под глазами секретной службы и под подозрением в шпионаже, как враг народа. То, что в местах лишения свободы к уголовникам отношение было в целом лучше, проще и человечнее, чем к политическим, объяснялось не тем, что уголовники были социально близки власти, а тем, что у уголовников не оказалось противостояния против шпиономании и они в нее включились, тогда как политические (сюда входили и верующие, счет которых среди репрессированных шел на миллионы) подозревали в шпионаже как раз шпиономанов.

4) Дети в правовом отношении особые субъекты потому, что до определенного возраста они не знают, что их видят не всегда, не полностью и не все. До школьного возраста, иногда даже до среднего школьного возраста дети не хотят побыть одни, потому что им всё равно: они всегда чувствуют себя под взглядом, но поскольку наедине с собой они не знают, под чьим, им становится страшно незнакомого взгляда и они бегут к знакомому. В детской психологии известен факт, что дошкольник и младший школьник при встрече с полицейским, наблюдающей фигурой, уверен, что полицейский знает о нём всё. На вездеприсутствии и всевидении хранителя порядка построена поэма Дмитрия Пригова о милиционере.

5) Человек, вернувшийся из мнимой невидимости в детское состояние просвеченности, к чему призывает Гоголь (рано постановить и привыкнуть жить под постоянным взглядом настоящего ревизора, совести), оказывается вне проблемы выбора между системой единовластия (семейного права в смысле всеислия отца) и системой общественного договора; единственно важным остается, насколько удастся действительно глядеть на себя во все глаза, что то же самое, что давать всем глазам себя видеть.

Всё это надо усвоить ввиду важности и трудности следующего шага. Как уже отмечено, различие между тем, кто глядит, другие на нас или мы сами на себя, не очень существенно по сравнению с главным различием между *во все глаза* и суженным зрением, дающим ил-

люзию скрытости. Глядящий, будь то другой или мы сами, имеет, как мы уже начинали об этом говорить, большие права. Ему может стать не интересно, и тогда он отменит представление, как надоел и был отменен театр империи Романовых, как наскучила и была оставлена социалистическая цивилизация. О глядящем можно поэтому говорить как об имеющем основное право, а именно право определять, быть или не быть театру истории. Глядящий имеет право на захватывающее зрелище, хочет исключительной и предельной остроты.

Мы чисто формально говорили, что право будет уводить далеко, в невидимое. Согласимся с тем, что так называемый субъект права у нас рассыпался как умственная постройка; остался в реальности носитель всего права, зритель и он же, возможно, одновременно актер; тот, кто смотрит, и тот, на кого смотрят. Глядящий требователен. Он хочет посмотреть много раз, например, как проваливается, сминаясь под собственной тяжестью, высотное здание. И он хочет посмотреть, подобно тому как дети жадно бегут смотреть <на> валяющегося голубя, тушу мертвой свиньи, на извлекаемые из-под упавшего здания тела. Закон запрещает теперь смотреть и показывать по телевизору эти извлекаемые тела. В другие эпохи, наоборот, почти обязывали смотреть на казни. Это предписывалось как воспитательное зрелище. Запреты на смотрение подчеркивают, насколько глядящему хотелось бы видеть. Телевизор, киноаппарат, компьютер удовлетворяют жажду смотреть; она остается ненасытной и только разгорается. «Пока под контроль не будет поставлено всё, не кончатся мистические разговоры о том, кто нам враг, кто друг», говорит способный государственный деятель. Конца сплошному просматриванию не видно.

Законно поэтому знать, чем успокоится зрение. Право зрителя, кто бы он ни был, заключается в том, чтобы видеть всё, полностью, до конца и рассчитывать на остроту пьесы, на предельность параметров. Можно сменить пьесу, но с другим содержанием пьеса должна быть снова остросюжетной. Настоящее различие между пьесами не в их содержании, не в том, как складываются отношения между играющими в ней, действующими лицами, а в мере захвата зрителя. К нему в конечном счете подбираются, его хотят задеть действующие. Они хотят увлечь, убедить глядящего, сделать так, чтобы он был доволен. Это видно на примере театральных новшеств и реформ. Используются приемы: разместить зрителей в центре, а действие по периметру, т. е. со всех сторон; повернуть прожектора в зрительный зал; актеру сойти со сцены в зал; вовлечь зрителей в действие; на музыкальном представлении добиться того, чтобы все танцевали или ритмически двигались.

Когда не удается достать и контролировать зрителя, он обнаруживает лицо радикального скептика, шпиона, предателя. К догадке о его настоящем существовании ведет такая вещь как катарсис, по Аристотелю цель трагедии. В катарсисе высветляется глядящий, обнаруживается его перспектива.

Пусть сплошное присутствие глядящего не уходит из нашего поля зрения. Когда мы говорим, что законы, и всего меньше в демократиях, где их создание проходит по сложным процедурам, никогда не создаются *под себя*, то имеем в виду это: что просто благополучие действующих лиц никогда не может быть целью их уклада, их устава. У них в руках никогда не все права, и даже не главные. Если зритель требует всегда предельного эффекта, он всё-таки должен заботиться о сохранении труппы, иначе ему нечего будет смотреть? И вот похоже что всё-таки нет. Актер показывает всё что может зрителю, чтобы захватить его. Зритель, наоборот, от своего требования хорошей сильной игры никогда не откажется и не пожалует актера. Право зрителя идет против самосохранения актера. Для видящего самое захватывающее зрелище всё-таки он сам. К этой теме относятся явления мира и ринга, когда в середине, в высветленном круге размах действия захватывает гораздо больше чем самосохранение (на миру и смерть красна), в том числе включая и сохранение самого даже ринга, или историче-

ской сцены, на которой разворачивается действие. Ничего, кроме захватывающей, увлекающей силы действия, зрителю не нужно. Он забывается, забывая в том числе о самом себе.

В этом качестве и праве зрителей русские не ущербны. Они, если хотите, здесь еще более зрители, более равнодушны к действующим лицам. Зритель бессмертен, вернее, смерть для него зрелище. Лицо явно, но взглянуть во взгляд? Много изменится, если это удастся, и первое — представление о личности. Введение зрителя, шпиона, пастуха, пока только формально очерченного, поможет нам меньше шататься, говоря о России. Кюстин чувствует себя уверенно в своих шатаниях, потому что не он первый; Чаадаев, которого он явно читал, тоже раскачивается на больших качелях в суде о своей стране.

Не нужно уличать меня в противоречиях, я заметил их прежде вас, но не хочу их избегать, ибо они заложены в самих вещах; говорю это раз и навсегда. Как дать вам реальное представление обо всём, что я описываю, если не противореча самому себе на каждом слове? [Кюстин 1996а: 234]

Размах качелей показывает величие беспредельного явления, будь то беспредел низости или, наоборот, добротности.

Вся Россия, от края до края своих равнин, от одного морского побережья до другого, внимает всемогущему Божьему гласу [...] Более всего занимает жителя земли то, что рассказывает ему о чём-то ином, нежели земля [там же: 235].

Одно из удобств от введения лица зрителя касается главного, что задевает Кюстина в России, отсутствия системы права.

В России ничего нельзя отменять безнаказанно: народы, которым недостает узаконенных прав, ищут опоры только в привычках. Упорная приверженность обычаю, хранимому с помощью бунта и яда [Петр III был сначала отравлен, только потом задушен], — один из столпов здешней конституции, и периодическая смерть государей служит для русских доказательством тому, что эта конституция умеет заставить себя уважать [там же: 242].

Это так, соглашаемся мы. Подчеркнем однако, что в качестве и праве зрителей русские нисколько не ущербны. Здесь не обнаруживается различия между Западной и Восточной Европой. Как бы даже не наоборот, зритель требует здесь себе, пожалуй, больше прав, шире дает разыграться на воле историческому спектаклю, более равнодушен к действующим лицам. Кюстин много раз верно замечает небрежность к сохранению тела, например видя, как без страховки работают петербургские маляры.

Во Франции маляров всегда было немного, и они далеко не так отважны, как русские. Человек везде ценит свою жизнь во столько, сколько она стоит [там же: 238].

Она стоит меньше чем захватывающий риск сидеть «рискуя жизнью, на дощечке, небрежно привязанной к длинной, свисающей вниз веревке» [там же]³. Таковы права зрителя. Он бессмертен, смерть для него зрелище из захватывающих. И когда Кюстин заморожен сценой избияния простых людей чиновниками и жандармами на улице, то, хотя он возмущен равнодушием прохожих, которые не мешают происходящему, не вмешивается и он сам. Вопрос, почему никто не вступился, он должен был сначала задать себе. «Но я не здешний». Но

³ В те же годы Гоголь зачитывал сцены из «Женитьбы», в том числе (явление XIV): «Подколесин. [...] Какой это смелый русский народ! Агафья Тихоновна. Как? Подколесин. А работники. Стоит на самой верхушке... Я проходил мимо дома, так шекатурщик шукатурит и не боится ничего».

то же русский: он не здешний, как правило. Он или смещен со своей родины, недавно поселен в Петербурге, или он уже здешний и коренной, но наплыв администрации, населения, новых образов жизни, законов создают условия оккупационного режима.

Ипостась зрителя — ревизор. То, что у Гоголя он ключевая фигура, самая интересная и для мужчин и для женщин, говорит не только о том, что все заслужили наказания, но пожалуй еще больше о власти, заранее отданной ревизору. Выставление напоказ, потемкинские деревни из одних фасадов не столько обманывают ревизора — все знают, что на самом деле никого не обманывают, — сколько повышают его статус, льстят ему, разыгрывают уважение к его роли. Кюстин ошибается, будто только Запад заставляет русских выставиться и весь спектакль разыгрывается для европейского наблюдателя.

[...] Понять тот дух тщеславия, какой мучает русских и извращает в самом источнике установленную над ними власть.

Это злосчастное мнение Европы — призрак, преследующий русских в тайниках их мыслей; из-за него цивилизация сводится для них к какому-то более или менее ловко исполненному фокусу [там же: 245].

Скорее всего, Европа только ипостась ревизора, той внимательной инстанции, перед которой отчитываются русские. Или, идя на компромисс с Кюстином, можно согласиться с тем, что, показывая себя, страна прежде всего хочет продемонстрировать, что она не уступит Европе. Соревнование при этом идет вовсе не за то, чтобы стать Европой или перенять в подлинности европейскую цивилизацию, демократию, гуманистические традиции и т. д. Критики, которые упрекают нас, что мы переняли технику, но не ее дух, или даже только продукты техники, но не ее саму, не переняли суть передовой цивилизации, должны понять, что наша цель не в подражании им, а в том чтобы не промахнуться, не упустить разыграть перед глядящим пьесу не меньшего размаха, пусть совсем другую. Если окажется, что размаха не получится без вещей, показанных Западом, то взять их.

Достижение Кюстина — открытие долгой традиционности России, исправление часто встречающегося ошибочного взгляда, будто эта страна движется от уклада к укладу. За неимением узаконенных прав она полагается на привычку. Ее постоянный уклад — перманентная революция, она обеспечивает остроту исторического спектакля (узаконить перманентную революцию по Троцкому значило бы отменить ее). Изменение правопорядка в такой ситуации принципиально невозможно. Опора обретается всегда в том неписаном законе, который был и остается единственной конституцией, т. е. в обычае. Тирания и бунт против нее здесь не противоположные вещи, а взаимно необходимые оборотные стороны друг друга. Тирания и есть бунт. Бунт, когда он состоится, развернет тот же методический, холодный, размеренный порядок, что тирания, т. е. подтвердит их тождество, особенно в аспекте их крайности, беспредела.

[...] И у самых цивилизованных наций зверство в людях не исчезло, а всего лишь задремало; и всё же методичная, бесстрастная и неизменная жестокость мужиков отличается от недолговечного бешенства французов. Для последних их война против Бога и человечества не была естественным состоянием [...] Здесь убийство рассчитано и осуществляется размеренно; люди умерщвляют других людей по-военному скрупулезно, без гнева, без волнения, без слов, и их спокойствие ужаснее любых безумств ненависти. Они толкают друг друга, швыряют наземь, избивают, топчут ногами, словно механизмы, что равномерно вращаются вокруг своей оси. Физическая бесстрастность при совершении самых буйных поступков, чудовищная дерзость замысла, холодность его исполнения, молчаливая ярость, немой фанатизм [...] в этой удивительной стране самые бурные вспышки подчинены какому-то противоестественному порядку; тира-

ния и бунт идут здесь в ногу, сверяя друг по другу шаг [...] невзирая на необъятные просторы, в России от края до края всё исполняется с дивной четкостью и согласованностью. Если кому-нибудь когда-нибудь удастся подвинуть русский народ на настоящую революцию, то это будет смертоубийство упорядоченное, словно эволюции полка [...] В результате подобного единообразия естественные наклонности народа приходят в такое согласие с его общественными обычаями, что последствия этого могут быть и хорошими, и дурными, но равно невероятными по силе.

Будущее мира смутно; но одно не вызывает сомнений: человечество еще увидит весьма странные картины, которые разыграет перед другими эта Богом избранная нация [там же: 305].

Бунтующие, как говорится, идут против всего святого. Тирания тоже всегда уже замахнулась на божественное право.

Эта непрерывная царственность, которой все непрерывно поклоняются, была бы настоящей комедией, когда бы от этого всечасного представления не зависело существование шестидесяти миллионов человек, живущих потому только, что данный человек, на которого вы глядите и который держится как император, позволяет им дышать и диктует, как должны они воспользоваться его дозволением; это не что иное, как божественное право в применении к механизму общественной жизни; такова серьезная сторона представления, и из нее проистекают вещи настолько важные, что страх перед ними заглушает желание смеяться [там же: 244].

Бунт и тирания тождественны по давней традиции. Россия в этом отношении оказывается не молодой страной.

Под всякой оболочкой приоткрывается мне лицемерное насилие, худшее, чем тирания Батя, от которой современная Россия ушла совсем не так далеко, как нам хотят представить [там же: 246].

Быть действующим лицом во всемирном представлении захватывает больше чем благополучие собственного тела. Послушание и бунт составляют две фазы этой захваченности. Бунт начинается никогда не против размаха государственного представления, скорее наоборот. Кюстин угадывает:

Деспотизм делает несчастными народы, которые подавляет; но нельзя не признать, что изобрели его для удовольствия путешественников, каковых он всечасно повергает в удивление [там же: 232].

Жители собственной страны — тоже нездешние или не совсем здешние путешественники, жертвы и зрители одновременно. Их собственное несчастье входит полноценно в игру, придавая остроту представлению. Распределение прав между жертвами и зрителями можно оценить так: чем меньше их у действующего (страдающего) лица, актера, тем больше зато у зрителя. У Плотина весь мир театр, и те же игроки, которые берут разные роли и разыгрывают их до смерти, меняя жизни как маски, оказываются зрителями представления. Жизнь и благополучие актера, как уже отмечалось, не входят в замысел зрителя; прежде всего нужен лишь размах пьесы, чтобы не перестало быть захватывающе интересно.

По зрительским правам страна, описываемая Кюстином, не уступает поэтому никакой другой, что видно по диапазону разрешенных или принятых хвалений и осуждений. Каждый компетентен и привык судить общественные дела, по-разному, конечно, в фазе дисциплины и в фазе бунта. Повертывается ли суд в сторону одобрения или приговора, несущественно; поворот туда или сюда лишь функция чередующихся полярных состояний, которые принад-

лежат друг другу как две стороны листа. В 1839 году главенствует явно фаза дисциплины, но легко просматривается и сторона бунта:

[...] в глубине души они судят свою страну еще более сурово, чем я, ибо лучше меня ее знают. Вслух они станут браниться, а про себя отпустят мне грехи [...] [там же: 252].

Податливый иностранец, беззащитный без противоядий в непривычной среде, сразу и широко начинает упиваться всеми предоставляемыми ею немисливо широкими правами зрителя, ревизора, судьи. Он полон восторгов, проклятий, идей переделки страны, подстеги-вая своей книгой, как может, ее действующих лиц и подбивая их на еще более крупную игру. Не называйте это провокацией; тут просто естественное расширение человеческого существа при выходе на свободу с получением не по документам, а из воздуха страны, из ее нрава и обычая, разрешения судить о ней в целом.

Тяжелое чувство, владеющее мною с тех пор, как я живу среди русских, усиливается еще и оттого, что во всём открывается мне истинное достоинство этого угнетенного народа. Когда я думаю о том, что мог бы он совершить, будь он свободен, и когда вижу, что совершает он ныне, я весь киплю от гнева [там же: 259].

Поражает мгновенное пропитывание свободой страны, громадными правами, которые даны здесь зрителю требовать от действующих лиц крупного. Он свистит и топает ногами в ожидании эффектов. От воли у него идет кругом голова, он хочет и ждет всё перетрясти и перестроить заново.

Я не устаю повторять: чтобы вывести здешний народ из ничтожества, требуется всё уничтожить и пересоздать заново [там же: 283].

Чем неустанно русские и занимаются. Незащищенный, неподготовленный маркиз в этом отношении стал вдруг благодаря своей впечатлительности и природному мимесису больше русским чем русские. Он показал лишний пример удивительной легкости вращивания — нам еще придется об этом говорить — иностранцев в нашу систему, императоров как Николай I, у которого только одна прабабушка была русская, массы чиновников, ученых, как языковеда Востокова Александра Христофоровича, русского филолога и поэта, академика, который так перевел свою немецкую фамилию Остенек, — длинный ряд, к которому прибавьте еще множество перебирающихся сюда, наоборот, с Востока на Запад из Азии. Русские с самого начала не название этноса. Подсчитывать, сколько и кого в русских вошло и входит, тяжелая и, главное, неясная по своим целям задача, совсем неинтересная рядом с другой: с явлением загадочной податливости, одновременно втягивающей и формирующей, нашего пространства. Что втягивает и ассимилирует, что это за воронка? Что образуется по неписаным законам? Интеллектуального понимания здесь, пожалуй, недостаточно. В «Войне и мире» Льва Толстого замечено, что в начале октября 1812 года из Москвы выходила уже другая армия, не та стройная французская, которая входила туда 1 сентября, или это была вообще уже не армия. Неоднократно высказывалось мнение, что силой, ассимилировавшей варягов в России, был язык. Но вот Петр I ввел массу иностранных слов и приближенный к западному алфавит; Николай I, наоборот, заставлял во дворцах говорить по-русски, так что дамы специально выучивали несколько русских фраз, чтобы сказать при его приближении. Язык может легко измениться. Меньше меняется то, что Кюстин называет

нравы народа — продукт постепенного воздействия законов на обычаи и обычаев на законы [там же: 290].

Любой язык, на котором мы заговорим, окажется в каком-то более глубоком смысле тем же самым. При дворе Кюстин наблюдает

приверженность французскому тону при отсутствии духа французской беседы. Я прекрасно видел за этим тоном русский ум, колкий, саркастичный, насмешливый [...] ум свой русские также скрывают от иностранцев [там же: 344].

Мы говорим о том единственном праве и обычае, какими дышим как нашей единственной средой. Ни малейшей возможности, из-за незнания другой, сопоставить своё с чужим или с чем-то его сравнить, у нас нет. Мы понятным образом знаем только то, что нас окружает. Мирмеколог, естественно, наблюдает свой муравейник. Французская, американская правовые системы втягивают в себя по-своему людей, которые дают себя втянуть, когда не продолжают принадлежать старой. Если я говорю, что Кюстин слился с нашим настроением, которое Пушкин выразил словами «*всё* надо делать с этим народом и с этой страной», то не имею в виду, что в других странах дело обстоит иначе. Во Франции тоже хотели всё переменить. Вглядываясь в своё, мы всегда начинаем замечать много редкостных вещей, и при первом приближении кажется, что они уникально наши. Наблюдая себя, сам себе предстаешь ни на что не похожим. И только когда докапываешься до своей интимной уникальности и осмеливаешься извлечь ее на свет, как Гераклит говорил, что он докопался до самого себя, мир начинает слышать в твоих откровениях своё. Только одиночка, ни на кого не похожий, может всерьез рассчитывать на то, что с ним отождествит себя всякий (Эжен Ионеско). Так же надо относиться к уникальности России у Кюстина.

Он видел Петербург, о котором император ему сказал, что это еще не русский город, теперь спешит в Москву.

Пускай название «Москва» звучит весьма современно и вызывает в памяти достовернейшие события нашего столетия, — удаленность бывшей столицы и величие этих событий придают ей поэтичность, как никакому другому городу. В этих эпических сценах есть нечто величественное и странным образом контрастирующее с духом нашего века, века геометров и торговцев ценными бумагами. Так что я с огромным нетерпением жду когда окажусь в Москве [...] хочу представить сколько возможно полную картину сей обширной и ни на что не похожей империи [там же: 334].

Он удивляется и почти в каждой фразе, как видим, настаивает на уникальности этого образования, России. Удивляемся и мы тоже, и будем удивляться, хотя воздержимся от сравнений «Россия — Запад». Такие сравнения и противопоставления лишь продолжают, допустим, с обратным знаком, европейское этнографическое отношение к нам.

Как обстоит дело с миссией России, захватом мира? Все государственные образования складывались в перспективе мира. Ни одно не ограничило себя заранее оговоркой, что его устройство непригодно для других. Любая система правопорядка по своему замыслу универсальна. Инерция каждого государства толкает его к расширению. Почти всякое государство есть тяжелая машина, вне предельной цели кажущаяся нецелесообразной. Кюстин замечает, что без мировой задачи всё окажется неинтересно, величие страны станет бессмысленным.

Из подобного общественного устройства [введенного Петром деления всех на 14 классов свободных военных и гражданских, прикасание к телу которых карается по суду, и остальную мас-

су крепостных и солдат, чье тело не неприкосновенно] проистекает столь мощная лихорадка зависти, столь неодолимый зуд честолюбия, что русский народ должен утратить способность ко всему, кроме завоевания мира [...] тот избыток жертв, на какие обрекает здесь общество человека, не может объясняться ничем иным, кроме подобной цели [там же: 340].

Даже если люди сами того не знают, тем более не высказывают вслух, победа над целым миром, мысль о его завладении составляет тайную жизнь России. И снова сам Кюстин заражается этой тайной жизнью, легко втягивается в настроение готовности к любой жертве ради предельной цели, в мировую миссию, присоединяется к ней тем, что формулирует ее на свой лад, отталкиваясь от родного, близкого. Он планирует для России:

Я вижу этого колосса вблизи, и мне трудно себе представить, чтобы сие творение божественного Промысла [...] его предназначение — покарать дурную европейскую цивилизацию посредством нового нашествия; нам непрестанно угрожает извечная восточная тирания и мы станем ее жертвами, коли навлечем на себя эту кару [там же: 341].

5. Фасад и изнанка

Обратим внимание на интенсивный показ. Что мы обычно старательно показываем? Уже говорилось о самом распространенном способе скрыть что-то важное от наблюдателя (шпиона): подчеркнутым образом продемонстрировать перед ним то, что должно привлечь, приковать, как говорится, к себе его взгляд. В меру нарочитой выраженности этого показа всегда происходит такое же интенсивное сокрытие. Сокрытие при этом бывает и от самих же себя. Так пьяница говорит, что ему надо, чтобы помочь жене в хозяйстве, обязательно сходить в магазин за спичками; он уверен что именно так дело и обстоит.

Когда смотришь на что-то, твой взгляд может быть указателем для другого, поэтому на скрываемое в принципе не смотрят. Противоправные вещи делаются характерным образом с отводом глаз своих и чужих, в каком-то смысле не глядя. Преступник не лжет, когда говорит сгоряча в начале следствия, что ничего плохого не делал: он в меру возможности действительно старался не смотреть на то, что делает, и следствие должно только спокойно напомнить ему о нём самом. Делая недолжное, мы обязательно делаем при этом что-то должное, например, карманник говорит с обворовываемым любезным вежливым тоном, или наоборот сердитым скандальным, но делая вид, что он обязан быть сердитым. Делая недолжное, мы одновременно делаем что-то другое, отвлекающее, и наше внимание распределено между двумя вещами, из которых одну мы неизбежно замечаем меньше чем другую.

Интенсивный показ Кюстин видит везде в России, при дворе, на большой Макарьевской ярмарке и в простой деревне тоже.

Я был удивлен внешним обликом некоторых деревень: их отличает неподдельное богатство и даже своего рода сельская изысканность, приятная для взора; все дома здесь деревянные; они стоят в ряд вдоль единственной улицы и выглядят вполне ухоженными. По фасаду они покрашены, а украшения на коньке их крыш, можно сказать, претенциозны — ибо, сравнивая всю эту внешнюю роскошь с почти полным отсутствием удобных вещей и с той нечистоплотностью, какая бросается вам в глаза внутри этих игрушечных жилищ, вы сожалеете о народе, еще не ведающем необходимых вещей, но уже познавшем вкус к излишествами [...] Со всей своей невероятной отделкой из досок, высверленных насквозь и сверкающих тысячью красок, они напоминают увитые цветочными гирляндами клетки [...] Повсюду тот же вкус ко всему, что бьет в глаза! С крестьянином господин его обращается так же, как и с самим собой; и те и другие полагают, что украсить дорогу естественнее и приятнее, чем убрать свой дом изнутри [...] [там же: 363].

Придворный театр продолжается везде, *mutatis mutandis*, вплоть до деревенской избы и до дома богача, который виден и так, богатый, но кроме того выставляет себя. Демонстративность становится сплошной во всей стране.

В России изобилие — предмет непомерного тщеславия; я же люблю великолепие, только когда оно существует не для видимости, и мысленно проклиная всё, что здесь пытаются сделать предметом моего восхищения. Нации украшателей и обойщиков не удастся внушить мне ничего, кроме опасения быть обманутым; ступая на эти подмости, в это царство декораций, я испытываю одно-единственное желание — попасть за кулисы, мной владеет искушение приподнять уголок холщового задника. Я приезжаю, чтобы увидеть страну, — а попадаю в театр [там же: 363].

У России были периоды интенсивного показа, как раз те, когда важно было многое скрыть. Когда Россия выставляется иностранцу, она сама во все глаза смотрит.

Петр I выстроил для своих бояр ложу с видом на Европу; заперев в бальной зале своих скованных по рукам и ногам вельмож, он позволил им издали и с завистью взирать в лорнет на цивилизацию, усвоить которую им было запрещено: ведь заставлять копировать — значит мешать сравняться с оригиналом! [там же: 349].

Играют, не забудем, все, причем некоторые с тем высшим искусством, когда почти не видно, что они играют. Французский дипломат о Николае I летом 1835 года: он

превратил свою империю в декорацию, украшающую театр, на котором император призван играть главную роль: всё его внимание обращено на зрителей, хотя ни единым словом, ни единым жестом он не выдает, что участвует в игре [там же: 519].

Всё выставленное для смотрения естественно наводит на мысль о том, что не выставлено. За всё показное естественно хочется заглянуть. Это значит, что показыванием обращают внимание на скрываемое, именно тем, что его скрывают? Да, именно так. Показанному противостоит вовсе не скрытое — оно скрыванием тоже подчеркивается. Когда Фрейда пригласили к закомплексованному подростку, жившему в семье, то в первые же минуты разговора этот молодой человек, хотя его о том не просили, показал пятно на своей одежде и сказал, что оно от нечаянно пролитой еды. Фрейд мысленно поблагодарил его за то, что он этим общающим сокрытием избавил его от лишних расспросов.

Показыванию-скрыванию, скрыванию-показыванию (демонстрируемое и спрятаваемое в одинаковой мере подчеркиваются) противоположна незаметность, невзрачность (неприметность). В меру показа показного на скрываемое обращается больше чужое внимание, чем свое; самому мне кажется что я что-то действительно скрыл, хотя обычно мне удается отвести глаза от скрываемого только в той мере, в какой начинают подозревать, что я скрываю что-то большее и худшее. Внимание, отдаваемое показу и скрыванию, т. е. показу особого рода, оттягивается от невзрачного, неприметного. Оно не показывается и не скрывается, т. е. стало быть вообще никак не улавливается. В одежде Жака Деррида поражала гармония между цветом глаз и большим галстуком, явное портновское мастерство пиджака, заведомо не купленного в магазине. «Попугай», говорили о нём недруги. По контрасту: одежда со вкусом одетой парижанки никак не заметна на ней. Только случайно пораженные этим, мы начнем обращать внимание на детали ее костюма.

Солдат-«дед» показным, шутовским образом отдает требуемую по уставу честь офицеру и этой демонстрацией скрывает-показывает весь ряд неуставных отношений. Отдание че-

сти показано офицеру, демонстративность показана себе, кому угодно и в том числе офицеру, который по долгу службы обязан держаться уставных отношений, причем, конечно, знает и о неуставных и делает вид, что их не замечает. Здесь и показываемое, и скрываемое, так сказать, в равной мере на виду. А невзрачное, неприметное? Это, например, плохие зубы отдавшего честь «деда». Неписанный закон, обычное право неуставных отношений при дедовщине не включает такое обслуживание «дедов» «дúхами», как чистка зубов, а у «деда» внимание от заботы о витаминах и хорошей зубной щетке уже оттянуто на соблюдение порядка дедовщины.

Аналогичным образом как в патриотическом наборе превосходных оценок своей страны, так и в диссидентском стандартном наборе⁴ обличений родных порядков одинаково ускользает невзрачное, неприметное. Напоказ выставляют чтобы скрыть, скрывая обращают внимание на скрытое. Среди этого показа-сокрытия важное остается никем не замечено. Скрипач показывает свои сильные стороны, заслоняя ими известные ему недостатки. Слушателя задевает однако не показанное, а то невыразимое, что достигается неприметно неуловимыми оттенками. Предписать, расписать такие вещи невозможно.

Право останется неправом, если формализует всё, не оставив места для неуловимых вещей. Всё вывести из тени на свет невозможно. Обычно закон оставляет почти нетронутой область собственности, в том числе так называемой интеллектуальной. Неразличение между скрываемым и невидимым приводит к путанице, о которой придется еще говорить. Сложность жизненного уклада, когда все жители, демонстрируя одно показом, другое утаиванием, отвлекаются вниманием от невыразимого и неприметного, прибавляет стране энергию кипящего котла.

Зрелище этого общества, все пружины которого оттянуты, как у готового к бою орудия, так страшно, что у меня голова идет кругом [Кюстин 1996б: 31].

[...] Революция в России будет тем ужаснее, что она свершится во имя религии [...] опасность час от часу приближается, зло не отступает, кризис запаздывает; быть может, даже наши внуки не увидят взрыва, но мы уже сегодня можем предсказать, что он неизбежен [...] [там же: 15].

С введением нового разграничения задача необходимым образом осложняется. В области неприметного — не скрываемого, а невидимого — располагаются самые действенные вещи. Кюстин ограничивается в основном только нетрудным заглядыванием за фасад потемкинской деревни и разоблачением скрываемого, т. е. тоже показываемого, оставляя без внимания невидное и неприметное, столь дорогое, например, для Тютчева. Кюстин входит, не смотря на кислый спертый воздух, в крестьянскую избу, такую красивую снаружи, где надо разбудить очередного ямщика, и видит, как мужчины и женщины в одежде вповалку спят на полу и на скамьях.

В этой стране нечистоплотно всё и вся; однако в домах и одежде грязь бросается в глаза сильнее, чем на людях: себя русские содержат довольно хорошо [...] [Кюстин 1996а: 366].

Скрываемое здесь подчеркнуто демонстрируется.

Так мафия картинно прячется, скрывая себя, чтобы подчеркнуть свое присутствие. В том, чтобы ей было приписано больше эффектных тайных дел, она заинтересована. Одно из средств подчеркнуть скрываемое — жестоко наказывать заглянувшего за занавес. Противоречие тут будет констатировать только очень поверхностная психология. Любой ребенок, чтобы привлечь внимание к секретной коробочке, строго запретит ее брать и будет готов к

⁴ Впервые мы встречаем этот набор в подробном виде в «Записках о московитских делах» (1517–1549) Зигмунда Герберштейна.

крайним санкциям за нарушение, несоразмерным с ценностью спрятанного там. В меру заглядывания за выставленный напоказ фасад впечатлительный Кюстин поддается очарованию ситуации вдвойне. Он подозревает жуть в подземных казематах Шлиссельбургской крепости («за такой скрытностью непременно прячется глубочайшая бесчеловечность; добро так тщательно не маскируют») и, конечно, тем более чувствует страшную угрозу наказания себя как шпиона. Ему кажется, что сейчас к нему протянется служебная рука в перчатке и прямо с пути отправит в Сибирь. Герцен:

Горько улыбаешься, читая, как на француза действовала беспредельная власть и ничтожность личности перед нею; как он прятал свои бумаги, боялся фельдъегеря и т. д. Он, проезжий, чужой, чуть не ускакал от удущья — у нас грудь крепче организована. Мы привыкаем жить, как поселяне возле огнедышащего кратера [Герцен 1959: 125].

Вдруг схватят, как Коцебу, как Сперанского, как многих поляков, как француза Перне в Москве.

Хозяин дома обещал, что на завтра в четыре утра у дверей гостиницы меня будет ожидать унтер-офицер.

Я не уснул ни на минуту; я был поражен одной идеей [...] А что если этот человек не отвезет меня в Шлиссельбург, за восемнадцать лье от Петербурга, а вместо этого по выезде из города предьявит приказ препроводить меня в Сибирь, дабы я искупал там свое неподобающее любопытство, — что я тогда буду делать, что скажу? для начала надо будет повиноваться; а потом, когда доберусь до Тобольска, если доберусь, я стану протестовать... [Кюстин 1996а: 360].

Все эти страхи множатся вокруг сокрытия и разоблачения. Сокрытие охраняется, причем вовсе не обязательно так, что охрана ставится при скрываемом: скорее наоборот, сначала охрана, т. е. запрет видеть, а потом под этот запрет подведено, что именно надо скрывать. Общий запрет смотреть во все глаза вызван страхом шпиона.

Кюстин, полностью вживаясь в ситуацию, делает и следующий стандартный шаг: выставляет напоказ, как все, видимость благополучия, надевает на себя общепринятое успокоительное лицо.

Несмотря на всю мою независимость в суждениях, которой я так горжусь, мне часто приходится в целях личной безопасности льстить самолюбию этой обидчивой нации, ибо всякий полуварварский народ недоверчив и жесток [Кюстин 1996б: 11].

Я соберу все письма, которые написал для вас со времени приезда в Россию и которые не отправлял из осторожности; я прибавлю к ним это письмо и надежно запечатаю всю пачку, после чего отдам ее в верные руки, что не так-то легко сделать в Петербурге. Потом я напишу вам другое, официальное письмо и отправлю его с завтрашней почтой; все люди, все установления, которые я здесь вижу, будут превознесены в нём сверх всякой меры. Вы прочтете в этом письме, как безгранично я восхищен всем, что есть в этой стране и что в ней происходит... [там же: 25].

Это понятно, знакомо и типично, всем известно. Но Кюстин делает еще один шаг в разборе, он замечает вещь, которую в общем тоже все знают, но о которой не задумываются.

Забавнее всего то, что я уверен: и русская полиция, и вы сами поверите моим притворным восторгам и безоглядным и неумеренным похвалам [там же].

Приемы конспирации совершенствуются. Кюстин уже засовывает написанное под подкладку шляпы.

Посмотрели бы вы, как старательно прячу я свои писания, ибо любого моего письма, даже того, которое показалось бы вам самым невинным, довольно, чтобы меня сослали в Сибирь. Сядясь писать, я запираю дверь, и когда мой фельдъегерь или кто-нибудь из почтовых служащих стучится ко мне, то прежде чем открыть, я убираю бумаги и делаю вид, что читаю [там же: 61].

С ростом предосторожностей растет конечно ощущение себя шпионом и делается постоянным страх.

Каждое свое послание я складываю без адреса и прячу как можно надежнее. Но все мои предосторожности окажутся тщетными, если меня арестуют и обыщут мою коляску [там же: 39].

Деятельность демонстративного показа и казалось бы противоположная деятельность скрывания совпадают в их одинаковой цели: ограничении зрения. Разоблачение скрытого во все не обязательно служит смотрению во все глаза; разоблачая скрываемое, закрывают глаза на показываемое. Поскольку показное дополнено скрытым, правда прячется не только в показном, но и в скрываемом. Между тем от показного обычно никто и не ждет правды; неправда показного скорее просто успокаивает наблюдателя, поощряя его тенденцию, и без того всегда сильную, искать скрытого.

В ситуации ограничения зрения уставное, писаное, узаконенное право часто выполняет задачу фасада, который должен спрятать то, что демонстративно скрывается.

Для чего служат установления в стране, где правительство не подчиняется никаким законам, где народ бесправен и правосудие ему показывают лишь издали, как достопримечательность, которая существует при условии, что никто ее не трогает [...] [там же: 22].

Выставленное напоказ, уставное право может быть собственно каким угодно, мечтательным или заоблачным. Содержательно оно мало кого интересует. На верховном уровне конституционного права и в отношении главных принципов оно как раз в жесткие эпохи бывало очень мягким, подобно отмене смертной казни в XVIII веке в опережение Европы или самой демократичной в мире конституции, принятой VIII Чрезвычайным съездом Советов СССР 5 декабря 1936 года.

Статья 124. [...] гарантируется законом:

- а) свобода слова,
- б) свобода печати,
- в) свобода собраний и митингов,
- г) свобода уличных шествий и демонстраций.

Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления.

Статья 127, неприкосновенность личности; статья 128, неприкосновенность жилища и тайна переписки.

Кюстин:

Россия осуществляла прогресс в области политики и законности только на словах; судя по тому, как соблюдаются в этой стране законы, их можно безбоязненно смягчить [...] Надо бы

сказать русским: для начала издайте указ, позволяющий жить, а потом уже будете мудрить с уголовным правом [там же: 22].

Отмена смертной казни хуже, чем ее сохранение, если есть телесное наказание, иногда смертельное, и если условия содержания под стражей невыносимо дурны. Отмена смертной казни сверху не имеет смысла, если общее мнение расположено расстреливать негодяев без суда.

Когда слушалось дело Алибо [двадцатишестилетний, хотел 25 июня 1836 года убить короля Луи-Филиппа], один русский, отнюдь не крестьянин, а племянник одного из самых мудрых и влиятельных людей в России, возмущался французским правительством: «Что за страна! — восклицал он. — Судить такое чудовище!.. Почему его не казнили на следующий же день после покушения!» [там же].

С ситуацией номинального права нам придется часто встречаться. Пока заметим, что в ней возникает характерная неразбериха, функция которой — заставить отчаяться в возможности найти недвусмысленное законное решение и таким путем возвратиться к неписаному праву или вообще к неправу. Не то что законы путаны, а сама законность и есть «путаница[a] в религиозных, политических и правовых вопросах». Именно эта путаница называется в России «общественным порядком» [там же: 23]. Характерно, что русское слово *порядок* в ряду своих значений начиная с *состояния благоустройства и налаженности* доходит до *обычая, обыкновения*, причем в дурном смысле (*старый порядок*). На российско-германском симпозиуме в Петербурге (1997) возникло недоразумение, потому что русская сторона в определенной фазе обсуждения многократно употребляла выражение *российские порядки* в смысле *беспорядка*. В немецком языке значения *обычай, обыкновение* у слова *Ordnung* нет.

Кюстин всё больше утверждает в ощущении, которое у него было с самого начала: сверху и снизу, в правительстве и крестьянстве Россия в отношениях господства и подчинения одинакова.

Едва выбившись из грязи, человек тотчас получает право, более того, ему вменяется в обязанность помыкать другими людьми и передавать им тумачи, которые сыплются на него сверху; он причиняет зло, дабы вознаградить себя за притеснения, которые терпит сам. Таким образом дух беззакония спускается вниз по общественной лестнице со ступеньки на ступеньку и до самых основ пронизывает это несчастное общество, которое зиждется единственно на принуждении, причем на принуждении, заставляющем раба лгать самому себе и благодарить тирана; и из такого произвола, составляющего жизнь каждого человека, рождается то, что здесь называют общественным порядком, то есть мрачный застой, пугающий покой, близкий к покою могильному; русские гордятся, что в их стране тишь да гладь [там же: 29].

Как бы даже не оказалось, что верхи одни способны напомнить о справедливости. *Но они наоборот подлаживаются к низам.*

Можно было бы избежать многих бед, если бы человек, находящийся у кормила власти, подал пример смягчения нравов. Но чего ждать от народа льстецов, которому льстит его государь? Вместо того, чтобы поднять народ до себя, он сам опускается до его уровня [там же].

Ситуация в России оказывается, как и на современном Кюстину Западе, кризисом власти. Власть перестала быть началом, ведущим принципом и занята самосохранением за счет приспособления к обществу. Вместо того, чтобы сопротивляться толпе — у Цицерона такое сопротивление есть главное достоинство государственного деятеля, — власть опускается до

уровня толпы. Здесь еще одна причина, почему законы могут быть сколь угодно мечтательными и идеальными. Внедрить такие законы сверху некому; сверху спешат приспособиться к нравам всех. Все могут надеяться, что их привычки и обычаи будут поняты.

Когда император или члены императорской фамилии едут из столицы в Москву по «лучшей в мире дороге», во всяком случае ухоженной, ломовые извозчики, скот и путешественники направляются по параллельной, некрасивой и ухабистой. В глаза бросается неравенство: ради одного человека теснятся тысячи. По сути никакой новый организующий принцип этим распорядком не вводится; поведение верховного лица дублирует и поощряет манеру езды каждого, у кого средство передвижения богаче, мощнее и быстрее, — манеру езды, которая делает движение «войной» и «держит в напряжении ум и чувства» [там же: 44]. Вводимый сверху порядок стал бы началом и принципом, если бы показал пример равенства на дорогах. Но такой пример потребовал бы огромного риска от правящего лица, его выступления наперекор всем — как раз того сопротивления, которое делает власть настоящей властью. Кюстин, монархист и реставратор, помнит такое в недавней истории Франции.

Король, который говорил «Франция — это я», останавливался, чтобы пропустить стадо овец, и во времена его правления любой путник, пеший или конный, любой крестьянин, шедший по дороге, повторял принцам крови, которых встречал по пути, нашу старую поговорку: «Дорога принадлежит всем» [...] [там же: 38].

Чтобы законы начали действовать, т. е. начали собственно существовать, — недействующий закон создает *путаницу* и хуже чем если бы закона вообще не было, — власть должна уметь показать *другое и работающее* их применение, чем простое приспособление их к обычаю и обычая к ним.

[...] Важны не столько сами законы, сколько способы их применения.

Во Франции нравы и обычаи всегда смягчали политические установления; в России они, наоборот, ужесточают их, и это приводит к тому, что следствия становятся еще хуже, чем самые принципы [там же: 39].

В самой по себе монархии, единовластию, как принципе пока ничего совсем плохого нет.

И еще. Разница между писаным законом и законом обычая (нрава) похожа на ту, которую Кюстин заметил между тихим и «настоящим» раскачиванием на качелях.

Несколько девушек, обычно от четырех до восьми, тихонько раскачивались на досках, подвешенных на веревках, а в нескольких шагах от них, повернувшись к ним лицом, раскачивалось только же юношей; их немая игра продолжается долго [...] тихое покачивание — своего рода передышка, отдых между настоящим, сильным раскачиванием на качелях. Это очень мощное, даже пугающее зрелище [...] когда на качелях раскачиваются всерьез, на них, сколь я мог заметить, не бывает больше двух человек разом; эти два человека — мужчина и женщина, двое мужчин либо две женщины — всегда стоят на ногах один на одном краю доски, другой — на другом и изо всех сил держатся за веревки, на которых она подвешена, чтобы не потерять равновесие. В этой позе они взлетают на страшную высоту, и при каждом взлете наступает момент, когда качели, кажется, вот-вот перевернутся, и тогда люди сорвутся и упадут на землю с высоты тридцати или сорока футов; ибо я видел столбы, которые были, я думаю, вышиной добрых двадцать футов. Русские, обладающие стройным станом и гибкой талией, на удивление легко сохраняют равновесие: это упражнение требует недюжинной смелости, а также грации и ловкости [там же: 47].

Подобный размах, когда он всерьез и по-настоящему, похож на риск маляра на одной доске и веревке. Непохоже что этому размаху есть безопасный предел или вообще какая-либо гарантия безопасности в обществе, где острота бытия ценится дороже жизни. Предельное усилие имеет практическую необходимость и повседневное применение в образе жизни русского крестьянина-робинзона (выражение Льва Толстого). Заселение восточноевропейской равнины, выживание в тощие годы, освоение Сибири, сохранение социальной базы при частых выселениях и переселениях и во время войн целиком зависело от умения крестьянина освоиться в одиночку. Конечно, всё это достигалось прежде всего благодаря лесу, но так или иначе не без предельного усилия. Робинзона сумел разглядеть в мужике и маркиз.

Русский крестьянин предприимчив, он умеет найти выход из любого положения; он никогда не выходит из дому без топора — это небольшое железное орудие в умелых руках жителя страны, где еще есть леса, может творить чудеса. Если вы заблудились в лесу и при вас есть русский слуга, он в несколько часов построит хижину, где можно переночевать, причем с большим удобством и уж наверняка в большей чистоте, чем в старой деревне [там же: 49].

Быстрота, с какой русская цивилизация перебрасывалась из Новгорода в Киев, потом во Владимир, потом в Москву, потом в Петербург, объяснялась отчасти тем, что на старом месте становилось в разных отношениях грязно, и люди быстро и с удовольствием перебирались в свежесрубленные новенькие дома, которые легко строили на любом новом месте. И места, везде знакомого равнинного, было, казалось, неограниченно много.

Однородность России связана с ее равнинностью. О Николае Первом говорили, что в планировке страны (широкие улицы и площади, одноэтажная застройка, прямые дороги) он достигал гладкости биллиардного стола, по которому шары катились бы без помех из конца в конец. Унификация на наших просторах вещь известная. Но вот другая рядом с ней, неудобная для обсуждения; она всеми ощущается, не поддаваясь определению. Условно можно говорить о заразительности пространства. Кюстин, как всегда, податливо уступает себя этому заражению и удивленно смотрит на то, что с ним происходит.

Вчера вечером нас вез мальчик, которого мой фельдъегерь не раз грозился побить за медлительность, и я разделял нетерпение и ярость этого человека; вдруг из-за ограды выскочил жеребенок, которому было всего несколько дней от роду и который хорошо знал мальчика: он принял одну из кобыл в нашей упряжке за свою мать и с ржаньем побежал за моей коляской. Маленький ямщик, которого и без того ругали за нерасторопность, хочет, тем не менее, остановиться вновь и помочь жеребенку, ибо видит, что коляска может задавить его. Мой курьер властно запрещает ему прыгивать на землю; мальчик как истинно русский человек подчиняется и застывает на козлах, словно окаменев, не произнося ни единого слова жалобы, а кони попрежнему мчат нас галопом [там же: 56].

То, что Кюстину не пришло в голову в Петербурге, где он молча наблюдал избиение полицейскими подсобного рабочего, теперь вдруг его поражает: почему он сам не только смотрит на происходящее безучастно, но и, больше того, одобряет своего курьера:

Надо поддерживать власть, даже когда она неправа, — убеждаю я себя, — таков дух русского правления [...] Надо ехать быстро, чтобы не ронять своего достоинства; не торопиться — значит лишиться уважения; в этой стране для пущей важности надо делать вид, будто спешишь [там же].

Что случилось. Он, Кюстин, сделался другим *физически*, потому что и когда загнанный жеребенок на его глазах надорвался, и когда мальчика грозили жестоко наказать за недогляд,

пока Кюстин был внутри всей этой среды, он «не чувствовал угрызений совести». Они пришли только с физической сменой обстановки, когда он уселся за стол к бумагам и принялся за письмо, вернувшее его во Францию. Только тогда пришло раскаяние: как я, парижанин, мог не вмешаться! Как это объяснить? Воздух, говорит он.

Покидая загнанного жеребенка и несчастного мальчика, я не чувствовал угрызений совести. Они пришли позже, когда я стал обдумывать свое поведение и особенно когда сел писать это письмо: стыд пробудил раскаяние. Как видите, человек прямо на глазах становится хуже, дыша отравленным воздухом деспотизма... Да что я говорю! В России деспотизм на троне, но тирания — везде.

Если принять в рассуждение воспитание и обстоятельства, нельзя не признать, что даже русский барин, привыкший к беззаконию и произволу, не может проявить в своем поместье более предосудительной бесчеловечности, чем я, молчаливо попустительствовавший злу.

Я, француз, считающий себя человеком добрым, гордящийся своей принадлежностью к древней культуре, оказавшись среди народа, чьи нравы я внимательно и скрупулезно изучаю, при первой же возможности проявить ненужную свирепость поддаюсь искушению; парижанин ведет себя как варвар! поистине здесь сам воздух тлетворен...

Во Франции, где с уважением относятся к жизни, даже к жизни животных, если бы мой ямщик не позаботился о том, чтобы спасти жеребенка, я велел бы остановить коляску и сам позвал бы крестьян, там я не тронулся бы в путь, пока не убедился бы, что опасность миновала: здесь я безжалостно молчал [...] Русский барин, который в приступе ярости не забил насмерть своего крепостного, заслуживает похвал, он поступил гуманно, меж тем как француз, который не вступился за жеребенка, проявил жестокость.

Я всю ночь не спал [...] [там же: 58].

Почему гений места (*genius loci*), понятный в древности, забыт и человек перед ним так беззащитен? Здесь дает о себе знать привычка современной личности воображать себя абсолютной единицей, независимым индивидом. Личность не расположена догадываться, что в непривычной среде она изменится физически, станет другой или, что то же, станет как другие. Не учитывают, что дышат воздухом. Кто-то пообещал индивиду, что он нерушимый атом. Никто не предупреждает, не напоминает, что есть неопределимая сила обстоятельств (среды), которая меняет всё.

Подведем итог.

1) Ревизор, наблюдатель хотел бы видеть всё. Всё ему никогда не покажут, а если и покажут, он не увидит из-за узости зрения. То, чего наблюдатель не видит, он дополняет догадкой или *подозрением*. Показывают обычно то, что считают правильным и правым. Подозрение может доходить до убеждения в предельной или вернее *беспредельной* неправоте тех действий, которые невидимы, потому что скрываются. *Презумпция невиновности* вступает в резкий конфликт с подозрением. Ее искажение происходит, когда формально соблюдаются правовые процедуры, при том что проверяющий и наводящий порядок про себя уже признал осуждаемого виновным. Противоположное искажение происходит, когда побеждает часто встречающееся размытое мнение, что «нет в мире виноватых» и, если присмотришься, все одинаковы, нет плохих и в трудной ситуации все поведут себя якобы одинаково.

2) Наблюдатель, ревизор, следователь, дознаватель *имеет право* там, где ему не всё показано, ожидать *чего угодно* в том, что ему не показано.

3) Из-за того, что скрывающий неправые действия *невольно скрывает их и от самого себя*, как если бы их совершал не он, а кто-то другой, совершивший неправое действие *естественно и не вполне лживо отрицает это*. Психологически с человеком, бросившим себя в стрессовую ситуацию действия, в правоте которого он не уверен, происходит аналогичное

тем явлениям, когда, например, падающий со стула, ножка которого вдруг подломилась, не думает, что падение произошло с ним, а в военной ситуации раненый, особенно тяжело или смертельно, часто бывает уверен, что дурное случилось с кем-то другим. Мы вообще говорим себе «это не я, это происходит не со мной, это меня не касается» *на каждом шагу и гораздо чаще, чем сами замечаем*. Задача следствия в отношении преступника и цель исправительной системы — терпеливо довести до сведения нарушителя, что преступил право именно он. С этим связана проблема *вменяемости*.

Юридически все граждане исходно предполагаются вменяемыми. Фактически невменяемость в той или иной форме — например в форме невнятной речи, подавленного ровного тихого тона, неестественной скованности движений или в уже упомянутой более явной форме убежденного отрицания фактов, для следствия совершенно очевидных, — наблюдается *почти во всех случаях* судебного разбирательства. Судебно-медицинская экспертиза признает однако невменяемость только в случае явной патологии и раздвоения личности.

4) Демонстративный показ призван обратить внимание на одну сторону дела и тем самым скрыть другую. В действительности, конечно, в какой мере скрываемое скрывают, в такой же и обращают на него внимание. Строго запрещая посещение заключенных, например, в Шлиссельбургской крепости, полицейские власти заставили маркиза де Кюстина предполагать там что-то худшее чем на самом деле. Показ и скрывание оттягивают как мое, так и чужое внимание от неприметного, которое может оказаться или, вернее, всегда оказывается самым важным для следствия.

5) *Демонстрация благополучия права*, как например конституция СССР 1936 года, самая идеальная по тем временам в мире, или отмена смертной казни в единственной стране Европы, в России при Екатерине II, т. е. выставление заведомо очень высокого, трудноисполнимого потолка, работает как *отмена* права. Статья 128 Конституции 1936 года, постулировавшая неприкосновенность личности, жилища и тайну переписки, была из тех статей, которые вводили право в мечтательную идеальность, исключавшую самую мысль о ее внедрении. Отмена смертной казни Екатериной II *вводила* незаконную смертную казнь, потому что при запрете смертной казни уже нелогично было вводить в законодательство санкции за смерть от телесного наказания, плетьюми; таких санкций и не было, т. е. убить человека телесным наказанием было фактически разрешено. Правосудие в таком случае, по выражению Кюстина, показывают как музейный экспонат издали без разрешения прикасаться к нему. Недействующий гуманный закон поэтому хуже, чем если бы закона вообще не было.

Необходимое добавление. Бесправие, произвол возмущают и требуют немедленно исправить положение. Но так обычно бывает при взгляде со стороны. Внутри ситуации мы ведем себя иначе чем извне ее. Маркиз де Кюстин, когда сам оказывается внутри того, что его возмущает, — сопровождающий его полицейский чин жестоко ведет себя с ямщиком, — спокойно соглашается с ситуацией и только потом, когда снова смотрит на всё со стороны, видит безобразие фельдъегеря и свое собственное.

Правовая оценка на правильно-неправильно со стороны, на отдалении всегда легче чем изнутри, для участника ситуации. Этим в очень большой мере объясняется общее нежелание брать на себя правовые обязательства и, в частности, выступать в роли свидетеля перед представителями власти. Дознаватель, следователь, судья, прокурор, даже защитник по определению находятся в большей мере вне ситуации чем свидетель, и поэтому легче судят о правоте-неправоте чем свидетель, требуя и от него тоже оценки по этому, естественному для них, критерию. Свидетель однако видел всё вблизи, а там отчетливая оценка на прав-неправ несравненно труднее. Задача свидетеля поэтому не столько в том <чтобы> послужить в судебных органах инструментом принятия решения об осуждении или оправдании, сколько в том, чтобы постараться по мере возможности ввести органы следствия и суда в конкретную

ситуацию. Тут свидетель будет встречать сопротивление, потому что органы правопорядка не заинтересованы в том, чтобы потерять способность отчетливо судить о правоте-неправоте, а это с ними обязательно произойдет, когда они войдут в подробные обстоятельства дела, и они отчасти утратят поэтому способность делать то, что обязаны, а именно судить. Свидетель обязан различать, с какой целью его расспрашивают, задавая вопросы: чтобы честно разобраться в деле, и тогда он способен помочь как никто, или, наоборот, чтобы, не вдаваясь в жизненную ситуацию, подогнать его свидетельства под свою отвлеченную версию, и тогда свидетель обязан всеми мерами сопротивляться, причем на него может быть оказано давление со ссылкой на преследуемую по закону дачу ложных наказаний.

Величко А.М. 1999. *Государственные идеалы России и Запада. Параллели правовых культур*. — СПб.: Издательство Юридического института.

Герцен А.И. 1959. *Собрание сочинений в 9 тт. Т. 9*. — М.: Художественная литература.

Гоголь Р.В. 1985. *Собрание сочинений в семи томах. Т. IV*. — М.: Художественная литература.

Кюстин А. де. 1996. *Россия в 1839 году: В 2 т. Пер. с фр. под ред. В. Мильчиной; коммент. В. Мильчиной и А. Осповата. Т. 1*. — М.: Изд-во им. Сабашниковых.

Кюстин А. де. 1996. *Россия в 1839 году: В 2 т. Пер. с фр. под ред. В. Мильчиной; коммент. В. Мильчиной и А. Осповата. Т. 2*. — М.: Изд-во им. Сабашниковых.

Переписка Н.В. Гоголя... 1988. *Переписка Н.В. Гоголя в двух томах. Т. 2*. — М.

Толстой Л.Н. 1972. *Война и мир. Т. 2 (III–IV)*. — М.: Правда.